

СТАТЬИ

А.В. Белова

«СНОВА ПРИНИМАЕШЬ ВИД СТАРУХИ»: ВОСПРИЯТИЕ СТАРОСТИ РУССКИМИ ДВОРЯНКАМИ (XVIII – середина XIX вв.)

Старость как «возраст жизни» – одна из наименее изученных стадий жизненного пути русской дворянки. Цель данной статьи – анализ переживаний и осмысления женской «старости» через изучение различий видения себя и другими замужних, вдовых и незамужних немолодых, пожилых, старых провинциальных дворянок.

В российской дворянской среде XVIII – середины XIX вв. не принято было различать пожилой (условно, с 60 до 75 лет) возраст, преклонный (с 75 до 90 лет) возраст и возраст долголетия (90 лет и выше). Старость как «возраст жизни» воспринималась достойным сожаления завершением земного бытия и, вместе с тем, временем подведения эмоциональных итогов пережитого, неуклонного приближения к смерти.

Постоянное ожидание предела жизни побуждало многих женщин, обретших к этому возрасту имущественную самостоятельность, к осознанному и своевременному распоряжению своим материальным достоянием¹, что служило одной из важных стратегий самовыражения. Получив, иногда только к концу жизни, свободу принятия решений и, в частности, волеизъявления в отношении имущества, провинциальные дворянки старались заранее составить завещание с тем, чтобы успеть «насладиться» собственными распорядительными полномочиями и связанным с ними эмоциональным ресурсом, а в ряде случаев и возможностью заинтриговать близких и дальних родственников. Не случайно, «учиния», как гласила формула, «заблаговременно подоброй своей воле» духовное завещание, наследодательницы оставляли за собой право «оное завещание в чем либо переменить или же вовсе уничтожить»², обретая редко выпадавшую им в течение предшествовавшей жизни возможность манипулировать другими людьми. Естественно, в силу различия душевных качеств, они по-разному воспринимали открывавшуюся перед ними «властную» перспективу.

Дворянками «старость» именовалась «летами», или «склоном лет». Несмотря на то, что зачастую этот возраст был связан с экономической независимостью и широкими семейными полномочиями, в письмах он субъективно обесценивался посредством дискурса ограниченности воз-

возможностей. 53-летняя вдова Аграфена Васильевна Кафтырева, урожденная Мацкевичева (1796–1892), переехав в дом овдовевшей княгини С.С. Щербатовой «в душливой и зловонной Москве»³, писала деверю А.А. Кафтыреву в Старицу: «...Признаюсь вам откровенно, любезный братец, что мне очень грустно; конечно, всякая перемена жизни в мои лета очень тяжела, если она не ведет к большому спокойствию. Здесь я нахожу больше этикету; я никогда не любила его, ни общества многолюдного и модного, а теперь каждый вечер я имею удовольствие знакомиться с новыми лицами, потому что теперь Княгиня принимать начала посещения всех тех, которые пожелают ее видеть, а знакома она со всею Москвою, то мимо глаз моих проходит настоящая панорама. Если бы я была помоложе, это бы меня занимало; может быть по привычке»⁴.

Осознание себя после 50-ти женщиной «в летах», тяготящейся любыми проявлениями жизненной мобильности, необходимостью соблюдения социального этикета и поддержания светской коммуникации, противопоставляемой «спокойствию» как идеальному состоянию, не исключает однако и определенного позерства. Стратегия позиционирования дворянкой себя в качестве «уставшей от света» являлась не атрибутом возраста, а способом легитимации своей причастности к известному социальному кругу. Хотя при всех оговорках А.В. Кафтырева не была уникальна в своих устремлениях: практически о том же ей писала приятельница Н. Философова. Размеренную повседневность двух пожилых сестер, проживавших вместе, – Натальи Философовой и Надежды Ознобишиной – в определенный момент нарушило «оживление», вызванное свадьбой племянника и сына Николая Ознобишина: «...Признаюсь что мы с сестрой отвыкшия от торжашни с нетерпением ожидаем окончания празднеств чтоб зажить опять мирной семейной жизнью»⁵. В последнем случае, когда речь не шла о ведении светского образа жизни, внутренний поиск «спокойствия» и «мира» в большей степени соотносился с возрастными характеристиками личности.

Для многих дворянок заключительный «возраст жизни» становился временем воспоминания о прожитом и пережитом. Одна из мемуаристок, в частности, заявляла: «Это воспоминание написано княгиней Елисаветою Григорьевною Хилковою, урожденною княжною Волконскою. На склоне лет, и в тиши деревенского уединения, изложила она несколько мыслей и чувств, вызванных памятью о высоком нравственном существе (Императрице Марии Федоровне. – А.Б.), в близи котораго протекли годы ея молодости»⁶.

При этом, ведя диалог с воображаемыми читателями, она постоянно отстаивала конструктивные возможности собственной памяти, как бы преодолевая стереотип ее возрастной ограниченности: «Люди рождаются с благословением Божиим, Господь каждому по милосердию Своему дает ум, красоту, талант, богатство; меня Господь одарил памятью: в 79 лет я пишу эти записки, справьтесь, вы не найдете ни прибавленного, ни убавленного»⁷, «...верьте мне, что я не лгу!»⁸.

Старости в той или иной степени было присуще ретроспективное мышление: устремленность не «вперед», в будущее, а, наоборот, «назад», в прошлое. Е.А. Сабанеева замечала: «...Настала старость с ее недугами, тоскою и утратами, а мысль, стремясь в прошедшее, роется в нем...»⁹. Отсюда – нацеленность пожилых дворянок на процесс вспоминания собственной прожитой жизни. Как выразилась княгиня Н.Б. Долгорукая, «сколько можно, буду стараться, чтоб привести на память все то, что случилось мне в жизни моей»¹⁰. Нежелание образованных дворянок бесследно «кануть в небытие» побуждало многих из них «по себе оставить на память журнал»¹¹.

«Обращение в слова» и запись тяжелых переживаний из собственной жизни, плохих воспоминаний, которыми, за редким исключением, наполнены мемуары российских дворянок XVIII – середины XIX вв., было способом избавиться от них, «отложить» их, отодвинув от себя. А хорошие воспоминания, поддерживаемые женской памятью, напротив, возрождали и помогали поддерживать ощущение счастья. Конструирование текстов воспоминаний на склоне лет как субъективные попытки отстранения пережитой боли и душевных страданий и одновременного прорыва к внутренним источникам счастья свидетельствует о наибольшей востребованности скрытых эмоциональных ресурсов женской личности для нее самой именно в этом возрасте. И вместе с тем – о наличии достаточного количества разнообразных жизненных опытов, позволявших иначе (менее травматично) осмысливать и истолковывать свое прошлое. Подлежавшие записи и прочтению посторонними воспоминания в любом случае были селективными и могли соотноситься не только с внутренним образом себя, но и с образом, моделируемым для внешнего восприятия.

Сбережение к преклонному возрасту не только конструктивных возможностей памяти, а вообще личностных дарований особо подчеркивалась мемуаристками, очевидно, как явление необычное, вызывавшее удивление. Графиня В.Н. Головина поражалась: «Я никогда не видала старика более веселого и заслуживающего уважения. До восьмидесяти четырех лет он сохранил все свои способности»¹².

Те из дворянок, которые в «зрелом» возрасте бывали при дворе и вели светский столичный образ жизни, отойдя от него в старости и окупившись в провинциальную помещицкую повседневность, продолжали осознавать себя выделяющимися из социокультурного окружения. И это давало им внутренний повод к особой манере поведения в домашнем пространстве. Мемуаристка А.П. Керн отмечала эту черту характера у своей бабушки А.Ф. Вульф, урожденной Муравьевой (?–1810): «Бабушка Анна Федоровна и сестра ее Любовь Федоровна, нежно мною любимая и горячо привязанная к моей матери, были аристократки. Первая держала себя чрезвычайно важно, даже с детьми своими, несмотря на то, что входила во все мелочи домашнего хозяйства. Так, например, я помню, что в ее убор-

ную приносили кувшины молока и она снимала с них сливки для всего огромного ее семейства. Пирог всегда лепился при ней на большом столе в девичьей, огромной комнате с тремя окнами. Тут пеклись хлебы к Светлому празднику и часто разбирался осетр в рост человека. Важничанье бабушки происходило оттого, что она бывала при дворе и представлялась Марии Федоровне во время Павла I с матерью моею, бывшею тогда еще в девицах»¹³.

Обусловлено это было и аристократическим происхождением, и тем, что она «ездила со всем своим семейством в Петербург в конце прошлого (XVIII. – А.Б.) века к брату Николаю Муравьеву, бывшему С.-Петербургскому обер-полицмейстеру», и тем, что была «близкая родственница известного Михаила Никитича Муравьева, воспитателя и друга Александра I»¹⁴. Ощущение своих социальных корней, наличие влиятельного родства, личное знакомство с императрицей психологически шло вразрез с повседневной жизнью пожилой провинциальной дворянки, ее хозяйственными заботами, среди которых одно из главных мест занимало удовлетворение гастрономических запросов многочисленной семьи. Вместе с тем личные и статусные амбиции реализовывались в повседневности провинциалки через стремление поставить под свой непосредственный скрупулезный контроль всю «экономику» дворянского дома.

Для Надежды Ознобишиной, приятельницы А.В. Кафтыревой, связанной с ней еще и духовным родством, старость ассоциировалась с нереализуемостью желаний: «...Как бы мне хотелось прижать вас и несравненную Екатерину Гаврилану (Племянницу А.В. Кафтыревой. – А.Б.) к моему сердцу и поблагодарить вас за все, но к сожалению расстояние велико, а лета не позволяют думать о возможности свидания, а потому только мысленно переносишься к вам и вспоминаешь былое, при чем всегда как то радостно бьется сердце и делаешься моложе и душой и телом, но через несколько минут видишь что это оптической обман после котораго снова принимаешь вид старухи, для которой мечты более не осуществляютя и для которой будущего уже нет, вот почему несравненной друг мой я не надеюсь вас обнять»¹⁵.

Особенно интересны внутренние метаморфозы автора письма от старости к более молодому возрасту и обратно под влиянием воспоминаний, причем «омоложение» мыслилось ею не только как изменение настроения и душевного настроя, но и как «обретение» прежней телесности. Устранение иллюзии, или, как выразилась Ознобишина, «оптического обмана», возвращало ее к адекватному восприятию своего нынешнего визуального и эмоционального облика, который обесценивался в ее сознании жизненной бесперспективностью и конечностью переживаемого возраста. А главное, - невозможностью реализовать мечты. Очевидно, помимо видимого повседневного измерения женского бытия большое значение придавалось «невидимому», внутреннему «проживанию» жизни. Мыс-

ленное обращение к позитивным воспоминаниям и виртуальное осуществление нереализованных возможностей играло важную роль в структуре женской эмоциональности и конструировании собственной идентичности. При этом отождествление со «старухой», вопреки способности ощущать себя более молодой, свидетельствует об усвоении ею гендерных представлений, согласно которым поведение индивида детерминировано полом и возрастом и, в силу этого, всегда должно оставаться «подобающим» им.

Женское восприятие старости было сопряжено со страхом угасания жизни, запечатленного в визуальных антропологических признаках старения. Канадский историк и писатель русского дворянского происхождения М. Игнатъев, воссоздавая историю своих предков, приводил слова из мемуаров прабабушки, графини Наталии Николаевны Игнатъевой, урожденной княжны Мещерской (1877–1944): «Спустя много лет Наташа писала: «<...> Теперь, когда я сама стала старой, мне кажется, что старости я боялась с детских лет, что старые люди всегда производили на меня тягостное впечатление. Кажется, это так грустно, отмечать перемены, происходящие с близкими и дорогими людьми. И даже теперь, когда я сама состарилась, я чувствую, что никогда не смогу преодолеть чувство благоговейного трепета и ужаса перед старостью». Наташе было шестьдесят пять, когда, мысленно возвращаясь в то далекое время и вспоминая, как на глазах осиротевшей дочери ее мать сгибалась под бременем обрушившегося на нее горя, она писала эти строки»¹⁶.

Вероятно, поэтому, в женской автодокументальной традиции «старость» не оставалась незамеченной, становясь элементом личностной характеристики индивидов как женского, так и мужского пола. Даже у мемуаристок, представительниц придворного круга, в описании постоянно фигурируют «старички», «общество, состоящее из большею частью стариков», «старые придворные», «старый камергер», «старые дамы», «старая графиня», «старый граф», «старая женщина», «старуха», «старая свекровь»¹⁷. При этом если применительно к мужчинам термины «старости» в ряде случаев могли иметь положительную, уважительную окраску («почтенный старик», «почтенный и уважаемый старик», «старик веселый и заслуживающий уважения»¹⁸), то в отношении женщин они почти всегда носили уничижительный характер («старая баба», «старая кокетка», «упрямая старуха»¹⁹). Уподобление мужчины «старой бабе» служило одним из элементов его подчеркнута негативной характеристики: «Граф Михаил Румянцев был светским человеком, очень ограниченным, самолюбивым и сплетником худшего сорта, вроде старой бабы»²⁰. Графиня В.Н. Головина среди встреченных ею в жизни персоналий вспоминала приведшую ее «в изумление» герцогиню-«старую кокетку шестидесяти лет», «шестидесятилетнюю старуху, у которой с одной стороны рука и нога чрезмерно распухли, другая же сторона вся высохла», «старую женщину, невысокого роста, полную, с ногами такими же толстыми, как туловище, с трудом передвига-

шуюся для себя, но деятельную и проворную для блага других»²¹. Из этого видно, что женщина в возрасте 60-ти лет безапелляционно считалась «старой» или «старухой», ее личностная характеристика практически исчерпывалась возрастными изменениями телесности, стремление же к поддержанию внешней привлекательности за такой женщиной не признавалось и осуждалось.

Социальный типаж «старухи» в женской автодокументальной традиции нередко подлежал описанию как воплощение необычности поведения, мышления, мироощущения²². Графиней В.Н. Головиной старость противопоставлялась не зрелости, а молодости²³. Причем столкновение старости и молодости часто оборачивалось не в пользу последней. «Старухи», выступавшие в роли рассказчиц или менторов по отношению к «молодым девушкам», вызывали у них страх, печаль и смущение²⁴. Поводом для сравнения служили даже гастрономические предпочтения «молодых» и «старых», однако в данном случае старость, которой атрибутировалось пристрастие к «вкусной» еде как едва ли не единственному доступному телесному удовольствию, по мнению мемуаристки, «проигрывала» молодости: «Мы обедали в Кронштадте у вице-адмирала Пушкина. Изобилие плохо приготовленных блюд не способствовало возбуждению аппетита, но молодость, здоровье и телесное упражнение делают вкусными кушанья. Лакомство – это слабость старости, последнее наслаждение, очень печальное и скучное. Юность не думает о желудке, ее аппетит гораздо деликатнее»²⁵.

Вместе с тем, у той же В.Н. Головиной можно встретить и позитивный «портрет» пожилой женщины, называемой уже не «старухой», а «старушкой». Правда, речь идет о близкой свойственнице, матери мужа, отзываться о которой дурно в мемуарах вряд ли могло считаться пристойным, каким бы ни было отношение к ней на самом деле. Имелась, правда, возможность умолчать о ней, что наводит на мысль о значимости по тем или иным мотивам включения данной характеристики в текст воспоминаний невестки: либо она, действительно, хорошо относилась к своей свекрови, либо стремилась это письменно запечатлеть и продемонстрировать. Кроме того, мемуаристка транслировала не только личную оценку «почтенной старушки», но и публичное признание ее «достоинств» и высокое мнение о ней императрицы. Очевидно, последние обстоятельства и стали основной причиной, побудившей Головину включить данный фрагмент в свой текст, в том числе и с целью повышения самооценки: «...Моя свекровь просила у Императрицы разрешение лично поблагодарить ее за своего сына. Она была слишком стара и глуха, чтобы быть представленной Императрице во время церемонии в Зимнем дворце, когда он был назначен маршалом двора Великого Князя Александра. Ее Величество соизволила предоставить ей эту милость... Моя свекровь была очень гуманной женщиной с большими достоинствами, справедливо пользовавшейся всегда великоллепной репутацией. Она вполне доказала свое мужество во время несча-

стий и ссылки ее семьи и своего тюремного заключения в царствование Императрицы Елизаветы. Она уже давно не выезжала в свет по причине своей болезненности. Едва она появилась в гостиной, как раздался всеобщий крик радости. У ней целовали руки и оказывали все знаки уважения. Я должна откровенно сознаться, что была тронута и гордилась этими изъявлениями почтения. Императрица приняла ее крайне милостиво... повела нас во внутренние апартаменты, чтобы показать их моей свекрови, которая воспользовалась отсутствием придворных, чтобы броситься к Императрице и в трогательных выражениях передать, насколько она была благодарна Государыне за то, что она позаботилась об ее старости и ее сыне... Ее Величество... наслаждалась веселостью, которую эта любезная и почтенная старушка распространяла вокруг себя»²⁶.

Так или иначе, «старость» описывалась в дискурсах телесных недостатков (глухота) и болезни, которые иллюстрировали ограниченность физических (пониженный слух) и социальных (отсутствие мобильности) возможностей и ассоциировались, собственно, с «женским» и «возрастным». Однако их негативные интонации смягчались положительной характеристикой пожилой дворянки (гуманность, достоинство, репутация, мужество, публичное оказание знаков уважения, изъявление почтения). Показательно, что сама «любезная и почтенная старушка» воспринимала высокое служебное назначение сына как «заботу о старости», необходимость которой априори ею подразумевалась и составляла один из элементов конструирования идентичности, связанный с осознанием и принятием мысли о своей возрастной немощности. Усвоение данной установки на индивидуальном уровне, в известном смысле, вводило старость в задаваемые культурой дисциплинарные рамки.

В представлении и столичных жительниц, и провинциалок «старость» воспринималась как возраст, нуждающийся в «опоре»²⁷ и «успокоении» со стороны взрослых детей. Смоленская дворянка Анна Ивановна Мацкевичева писала 40-летней дочери А.В. Кафтыревой, с которой на протяжении жизни бывала в разных отношениях: «Милая любезная и несравненная Дружочик моя Грушинька! Сердечно и вторично благодарю тебя мой дружочик за твою присылку, а болие за твою обо мне память; поверь что твое усердие дороже для меня всех сокровищ в мире; тем болие что я во всю мою жизнь ничем тебя не наградила, а ты мой несравненной дружочик приобретаая собственными трудами и с потерию твоего здоровья которое для меня драгоценно; отказываешь себе а успокоиваешь мою старость...»²⁸.

Из этого письма понятно, что поведение матери в более раннем возрасте по отношению к дочери не было адекватно заботе дочери о ней в старости. А.И. Мацкевичева прямо признает, что «во всю жизнь» ее «ничем не наградила». Тем не менее это не стало поводом для А.В. Кафтыревой не оказывать материальную поддержку пожилой матери. В другом письме последняя также сознавала свое несправедливое обращение с до-

черью, которая, по ее же признанию, «во всю свою жизнь никогда ничего предо мною не сделала, кроме как всегда старалась доставлять мне большое удовольствие»²⁹: «... Чтож мой Дружок я так долго к тебе не отвечала на твое драгоценнейшее для меня письмо которое я оросила слезами раскаяния пред тобою я много и очень много пред тобою погрешила и одно только твое Ангельское терпенье может простить меня и забыть все те дерские поступки которые я против тебя делала а ты как кроткой Ангел все мне простила...»³⁰.

Это может служить примером того, как взрослые дочери, в отличие от сыновей (или, по крайней мере, чаще последних) становились объектами материнского гонения. С другой же стороны, свидетельствовать об укоренности представления о том, что, как бы матери не вели себя по отношению к детям, в том числе дочерям, последние должны «подкреплять их старость»³¹.

Не лучше А.И. Мацкевичева относилась к дочери Анне Васильевне и зятю Алексею Тимофеевичу Редзиковым, которые, так же как и А.В. Кафтырева, по словам самой матери, «во всю свою жизнь не пользовались от меня ничем ни на грош»³². Они же, несмотря на это, сохраняли к ней «любовь и необыкновенное попечение»³³, благодаря чему она, живя у них в старости, «ни в чом не имела крайности»³⁴. А.Т. Редзиков писал в одном из писем А.В. Кафтыревой: «... Таперь есть еще некоторая отрада, маминька Анна Ивановна, имела на нас несколько лет гонения; ныне ж усмотря нашу невинность, обратилась с прежним своим родительским к нам расположением; живет у нас, и тем доставляет нам в горести самое лестное для нас благодаяние...»³⁵. В столь сильной психологической зависимости от пожилой «маминьки» находился даже не сын, а зять, не говоря уже о дочери, что подтверждает сохранение патриархальных устоев в провинциальных дворянских семьях и присущего любому традиционному обществу подчеркнутого уважения к старшим. На этом зачастую базировался практиковавшийся в среде дворянства эмоциональный диктат пожилых матерей в отношении более молодых домочадцев, которые ему практически не сопротивлялись ввиду стереотипов подчинения и необходимости признания авторитета родительницы.

Недовольство престарелой дворянки вызывали не только дочери и зять, но и невестка, с которой она затеяла судебную тяжбу. Это наводит на мысль о ее маниакальном опасении угрозы со стороны всех вообще представителей «зрелого» поколения семьи, которые и не помышляли ущемлять ее или покушаться на ее «малейшую и отставшую... собственность»³⁶. История взаимоотношений пожилой А.И. Мацкевичевой с поколением взрослых «детей» может быть описана формулой: не доверяй всем, кто моложе тебя. Расцветившая в письме к дочери, которую незадолго до этого она также притесняла на протяжении длительного времени, свою распрю с невесткой, дворянка почтенного возраста сохраняла исключительную де-

ловитость и расторопность в вопросе отстаивания своих владельческих прав: «Я потому к тебе мой друг так долго не писала что ездила в Конную хлопотать о освобождении моего собственного имения взятаго в опеку невесткою. Она всем завладела всем пользуется и не хочет добровольно отдать моей собственности что вынудило меня наконец подать прозбу в Уездный Бельской Суд. Я ожидая решения по моему делу с 10 мая по 1 августа в Конной терпела от невестки не только неприятности но даже притеснения на конец решила удалиться и действовать чрез почту не поверишь мой друг как мучит меня это; до сих пор не получила из Белой ничего и не знаю какой оборот взяло дело. Да ты мой друг кажется еще предлагаешь мне собственные твои трудовые деньги то скажу тебе по чистой совести что присланные мне тобою прежде до одной копейки у меня целы я их никуда не употреблю кроме естли Бог поможет кончить дело с невесткою то они пойдут на совершение актов на имя твое для такой цели я их взяла и прежде»³⁷.

Один из характерных атрибутов старости – дискурс болезни, звучащий лейтмотивом большинства женских писем. Так, А.И. Мацкевичева жаловалась дочери: «...Причина моему молчанию была жестокая болезнь моя так что доктор и все окружающие меня ни имели никакой надежды к моему выздоровлению тепер же благодарение Всевышнему Творцу совершенно здорова...»³⁸.

В. Горчакова высказывала в письме к той же А.В. Кафтыревой сожаления по поводу невозможности личной встречи из-за неудовлетворительного самочувствия: «Милая А.В., мы приехали сегодня из Москвы, и мне очень очень досадно что я не могу к вам пойдти сейчас же по случаю нездоровья. Как только оправлюсь буду у вас непременно, но на это потребуеть несколько дней. Надеюсь что вы себя чувствуете хорошо. Мне сказали что вы здоровы но не выходите, вероятно вас утомляет лестница? Вот и я тоже поэтому должна подождать пока совсем не поправлюсь чтоб не испортить себя на долгое время. А очень досадно быть так близко от вас и не видеться!»³⁹

При этом тема «нездоровья», становясь предметом как письменного, так и устного обсуждения, соотносится с возрастными трудностями, например подъема по лестнице.

Болезнь воспринималась как симптом угасания жизни и потому неизменно озвучивалась в женских письмах подробно и эмоционально. Именно так следует понимать переживания Н. Ознобишиной по поводу ухудшения самочувствия ее сестры Н. Философовой: «Все это время не смотря на радостное событие в семье моей я нахожусь в тревожном состоянии несравненной друг мой от болезни моей Наташи, вот уже другой месяц как силы ей изменили и она чувствует нервическое трясение в руках ногах и голове, зная хорошо чувства которая нас соединяют друг с другом вы поймете как тяжело у меня на сердце, так что и предстоя. свадьба Никола не рассеивает моих грустных чувств...»⁴⁰

Однако и старческие болезни не всегда оказывались необратимыми, чем немало удивляли даже самих их «обладательниц». Оправившаяся после длительного недомогания Н. Философова писала А.В. Кафтыревой: «Наконец дорогая моя Аграфена Васильевна рука моя не противится сердцу и позволяет приписать вам хотя несколько строк и послать вам нежные поцелуи, жаль что мысленные, а мне бы так хотелось разцеловать вас с головы до ножек за дружбу вашу к нашей милой Любе и Нилу, приезд которых оживил меня совершенно и разпросам обо всех вас нет конца...»⁴¹.

Вместе с тем возрастные заболевания осознавались как своего рода неизбежность, смиренное принятие которой – предмет эпистолярных нападаний, обращенных пожилым дворянином к пожилой дворянке: «Прятейшее письмо ваше от 30^{го} октября, я имел удовольствия получить, благодарю вас за оное, и душевно радуюсь что вы здоровы и благополучны – хотя и жалуетесь на страдания от недугов ваших; но как эта болезнь для нас стариков неизлечима; и потому надобно нам старикам переносить ее с Христианским Терпением Почтеннейшая Сестрица!»⁴².

Продолжительность жизни воспринималась зависящей от Бога, а убывание жизненных сил – «слабость» – как один из признаков приближающейся кончины: «Благодарю тебя за привет, которым ты оканчиваешь свои письма, я охотно этому верю, и надеюсь, что ежели Господь прадлит еще мой век, то и наделе даст мне сие уразуметь – я очень стала ослабевать, нынешней Год мне весьма тяжел»⁴³.

При этом перед лицом надвигающейся смерти уместным считалось исполнение непритязательных желаний, доставление маленьких житейских радостей: «Матюшка Глафира все это время жила сомною в Волочке и на Берески и вчерась отправилась в Бологое, чтоб итти в Волдай и т.д: вы не поверите как ей было грустно сомною растатся да и мне ее очень жаль она так стала слаба незнаю как ей итти. Не забудьте моя радная ее камиссии мне кажется она нам уже ненадолго, надобно потешить. Чувствует сильную боль в груди кашляет точно Суворов последнее время и задыхается неможет духу перевести когда взайдет к нам на антресоль»⁴⁴.

Осознание старости как времени утрат, переживания смерти близких и череды болезней, одиночество и однообразие вели к тому что, старость воспринималась самими «старухами» как своего рода безвременье, как период максимального расхождения желаемого с действительным: «О себе я вам скажу, что мне теперь слава Богу полутче, а после потери, кончине друга моего сестры Княгини Анне Александровне очень была нездорова, которая 16^{го} января скончалась и глядя наея болезнь и Страдание совершенно размучилась, будучи с ней день иночь вместе иона была намоих руках оставить было ненакого, ибо сын ея и невестка, докончины ея задве недели только приехали. Но она совершенной христианкой кончила жизнь, причащалась имаслом соборовалась в чистой памяти, ия теперь совершенно осталась одна иведу жизнь в скуке потеряв обеих друзей и сестер...»⁴⁵.

Таким образом, в восприятии российских дворянок XVIII – середины XIX вв. старость как возраст жизни, помимо полноты самоощущения и исполненности индивидуального проекта («лета», «век»), – нисходящая фаза жизненного цикла («склон лет»). Объективное возрастание с годами, как в любом традиционном обществе, социальных потенциалов и амбиций субъективно снижалось осознанием собственной физической беспомощности, асоциальности, психологического бессилия в осуществлении желаний. Будучи временем эмоционального подведения итогов, возраст старости предполагал компенсацию событийной разреженности настоящего ретроспективным обращением к насыщенному опытами и переживаниями прошлому. При этом повседневность пожилых провинциалок отличалась большой хозяйственной занятостью и интенсивностью распорядительной деятельности, вплоть до деспотизма по отношению к многочисленным домочадцам обоого пола.

Примечания

¹ Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 1871. Апухтины. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–1об.; Ф. 127. Оп. 4. Д. 5. Л. 1–22; Д. 8. Л. 1–19; Д. 13. Л. 1–24; Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 1041. Оп. 1. Д. 50. Л. 1–3; Д. 75. Л. 1–2об.; Д. 78. Л. 1–1об.

² ГАТО. Ф. 1066. Оп. 1. Д. 14. Л. 1, 2об.

³ ГАТО. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.

⁴ Там же. Л. 6об.

⁵ Там же. Л. 149об.

⁶ Хилкова Е.Г. Воспоминание об императрице Марии Феодоровне // Русский архив. 1873. Кн. 2. Вып. 7. Стб. 1121.

⁷ Смирная Е.-А.В. Данила Яковлевич Земской: Один из птенцов Петра Великого / Сообщ. П.В. Лобанов // Русская старина. 1883. Т. 40. № 10. С. 69.

⁸ Там же. С. 68.

⁹ Сабанеева Е.А. Воспоминание о былом, 1770–1828 гг. // История жизни городской женщины. М., 1996. С. 335.

¹⁰ Долгорукова Н.Б. Своеручные записки // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX века. М., 1990. С. 42.

¹¹ Там же.

¹² Головина В.Н. Мемуары. М., 2005. С. 287.

¹³ Керн А.П. Из воспоминаний о моем детстве // Керн (Маркова-Виноградская) А.П. Воспоминания о Пушкине. М., 1987. С. 344–345.

¹⁴ Там же. С. 339, 344.

¹⁵ ГАТО. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 2. Л. 147.

¹⁶ Игнатъев М. Русский альбом: Семейная хроника. СПб., 1996. С. 32–33.

¹⁷ Головина В.Н. Указ. соч. С. 25, 51, 123, 150, 151, 275, 284, 321, 350 и др.

¹⁸ Там же. С. 215, 223, 287, 365, 368.

¹⁹ Там же. С. 171, 292, 350.

²⁰ Там же. С. 170–171.

²¹ Там же. С. 292, 294, 310.

²² Смирнова А.О. Из записной книжки Александры Осиповны Смирновой // Русский архив. 1890. Кн. 2. Вып. 6. С. 284.

- ²³ Головина В.Н. Указ. соч. С. 25.
- ²⁴ Там же. С. 321, 350.
- ²⁵ Там же. С. 94.
- ²⁶ Там же. С. 60–61.
- ²⁷ Там же. С. 361.
- ²⁸ ГАТО. Ф. 1233. Оп. 1. Д. 2. Л. 32.
- ²⁹ Там же. Л. 32об.
- ³⁰ Там же. Л. 37–37об.
- ³¹ Там же. Л. 37.
- ³² Там же.
- ³³ Там же. Л. 32об.
- ³⁴ Там же. Л. 37.
- ³⁵ Там же. Л. 38.
- ³⁶ Там же. Л. 37об.
- ³⁷ Там же. Л. 74–75.
- ³⁸ Там же. Л. 37об.
- ³⁹ Там же. Л. 123–123об.
- ⁴⁰ Там же. Л. 146об.–147.
- ⁴¹ Там же. Л. 149об.
- ⁴² ГАТО. Ф. 1016. Оп. 1. Д. 45. Л. 79.
- ⁴³ Там же. Л. 90.
- ⁴⁴ Там же. Л. 91–91об.
- ⁴⁵ Там же. Л. 54об.